

Константин Николаевич Леонтьев

Паликар Костаки

Константин Леонтьев

Паликар Костаки[1]

Рассказ кавасса-сулиота

I

Если вы любите, господин мой, слушать истории разные про то, как живут люди в Турции и что случается в наших местах, — я расскажу вам, как влюблен был один молодой сулиот наш Костаки в дочь богатого купца, Стефана Пилйди, и как он на ней женился.

Костаки значит Константин. Так его крестили. Он был всегда мне близкий друг, и теперь я иногда езжу к нему в Акарнанию.

В этой истории можно видеть, как велика премудрость промысла Божия! Как одним бывает от чего-нибудь убыток и гибель, а другие чрез это судьбу свою составляют и желаниям своим успех видят.

Не случись пожара в городе, где бы Костаки взяли дочку у Пилйди! А пожар этот полсотни лавок сгубил, весь базар уничтожил, богатых разорил, а бедных без хлеба на несколько месяцев оставил. Да это я вам по-

сле скажу. Теперь о самом Костаки. О Сулии слышали ли вы как следует? Марко Боцарис был сулиот: и даже сестра его Еленко сражалась с турками и была убита. На пути из Янины в Арту стоит у самой дороги большое дерево, под которое ее раненую положили турки, и она скончалась под ним... Есть у нас и стихи старинные про Еленку.

*Все капитанши, все черноглазые.
Все попались в плен туркам, всех
их забрали.
Одна только Лена Боцарис, эта
одна черноглазая,
В плен не попалась и ее не забрали.
Пятеро турок за нею бегут и
пять янычаров.
Обернулась к ним Аена и так го-
ворит; обернулась и молвит:
Турки мои! не трудитесь напрас-
но, не тратьте труда вы;
Елена я Боцарис и Марку сестра я;
Ружье ношу я, саблю дамасскую и
пистолеты серебряные.
И в руки турок живая не отдам-
ся!*

Горы наши страшные со всех сторон вид-

ны. Если ехать из Янины в Превезу или в Арту, они будут на правой руке; а назад поедете, они будут у вас на левой. Крепость Сулии стоит высоко, и ехать туда трудно даже на самом хорошем муле. Дорог вовсе нет от деревни к деревне; только в долине Лакки полегче. И я, и Костаки, друг мой, в этой Лакке родились.

Сулиоты все герои. Неужели вы не слышали и не читали в книгах, как тиран эпирский Али-паша хотел завоевать Сулию и как сулиотские женщины с высокой скалы побросали детей своих и побросались сами? Спаслись, пробившись с оружием сквозь турецкое войско, очень немногие. А отдаться никто не хотел!

Вот что такое сулиоты! Поэтому и зовут даже нашу Сулию: *Злая Сулия*. Сулиотов наших и лорд один великий хвалит в своих сочинениях. Я забыл его имя, но его у нас еще помнят старики; игумен в монастыре Св. Илии, что в Зице, говорит: «Как сейчас пред собой вижу: кудрявый и красивый мужчина был; в монастыре нашем три дня гостил, и с меня портрет карандашом снял, и отдал мне на память, да пропал портрет с другими бумагами

во время албанских набегов». — Этот лорд в Миссалонге умер; он бросился за греков сражаться, да заболел и скончался. Да простит Бог его душу! Хоть он и англичанин был, а я все-таки скажу: да простит Бог его душу!

Вот этот-то лорд в своих сочинениях, сказывают ученые люди, весьма возвышенно хвалил сулиотов и говорил: «я сам храбр и за Элладу кровь пролью, а сулиоты уж выше всякой меры герои».

II

Как сулиотские женщины кидали с горы своих детей, так бросили и мать нашего Костаки; ей тогда уже десять лет было; она кричала и не хотела, бедненькая, кидаться, но мать насильно столкнула ее, и Бог ее дивным, удивительным образом спас. Послушайте, эфенди: это приятно слышать! Как бросила ее мать, она прямо с ужасной крутизны на другие тела упала и только ногу попортила.

Вот вещи какие их род видал! Отец его тоже старик отчаянный был. Усы седые вот до каких пор!

Выпьет — веселый человек станет; один

раз к нашему консулу пришел. Деревенский человек, простой. Посадил его консул. Люблю, говорит, старых людей, уважаю! Вина ему, раки[2], кофе, чубук... Старик и важность свою бросил.

— Дайте мне, ваше сиятельство, позволение петь.

Дал консул с радостью. До полуночи старик пел разные старые песни, а консул, глядя на него, веселился.

А дома он был суровый человек. Все мы в горах жен наших в строгости большой держим; они с нами и за стол не смеют сесть, а стоя служат нам и кушают после. Я и сам раз хотел было застрелить жену свою, и вот за что. Шел я по улице, а она у соседских ворот стоит с соседкой и смеется, спиной к улице; я иду, она видит и должна была повернуться ко мне лицом. Да забыла, бедняга, видно. Я дома и показал ей, что значит муж. Оно, конечно, я уж не деревенский человек, и европейское обращение с господами видел, и даже чрезмеру знаком со всем этим, ибо много консульств всяких держав, и других знаменитых и официальных дам знавал близко. Поэтому я

на жену и не рассердился взаправду, а только вид ей страшный показал, чтобы древний обычай чтילה.

Да это я так, а другие у нас хуже меня много.

Уважают жену всячески, но чтобы она помнила, что она жена. Старший брат нашего Костаки женился в другой сулиотской деревне на девушке из очень хорошей семьи. И дядя, и отец, и дед ее под Миссалонги сражались и начальниками были; деда Али-паша уважал; а другой ее дядя уехал в Афины учиться и вышел ученейший человек. С материнской стороны дядя у нее полковник греческой службы, потому что маленьким в Афинах учился. Вот такая родня!..

Когда повез жену свою старший брат Костаки в дом отца, видит он, что она еще такая молоденькая и нежная, пожалел и посадил ее на лошадь, а сам около пешком пошел. Жалко, говорит, а другой лошади не взяли. Увидал старик новобрачных и встретил их с ружьем в руке.

— Видишь это ружье, негодяй! — говорит сыну, — другой раз увижу, на месте убью.

— За что, Христос и Панагия[3]? — говорит сын.

— За что? — говорит старик. — Разве прилично воину сулиотскому жену посадить на лошадь? Ты сиди сам на лошади, как мужчина, а жена должна идти около и ружье твое на плече нести. Если тебе жалко стало ее, по дороге вез бы на лошади, а в деревню не въезжал бы срамить меня.

Такая вся родня была у Костаки честная и хорошая, никто их семью в бесчестном каком-нибудь деле укорить не смел. И род знаменитый их был в наших горах.

III

Костаки и сам был малый, как у нас говорится, *костяной нос*.

И ростом, и силой, и смелостью из первых у нас. Танцевать станет — все любят: сперва тихо начнет; одну ногу подвинет важно и тихонько, потом другую выставит и остановится: глядит на всех. А потом как подпрется и закружится и запрыгает, фустанелла на нем из трехсот кусков сшита, пышная, развеивается — удивительно! Я тоже, эффен-ди,

танцюю хорошо, но Костаки гораздо лучше меня танцевал. Сулиоты все наши одеваться любят чисто. Если вы заедете в наши горы и увидите наших, как они бедно живут, вы удивитесь и скажете: *дикие* люди! Наши дома не то, что в городах, а у редких хозяев потолок в доме есть. Стекла на окнах никак во всей Сулии у одного только человека и есть, да и то недавно вставил их. Зимой, как поднимется ветер и снегом нас начнет заносить, мы в бурках у очага сидим и ставни притворим днем. Школ в других округах Эпира много, а у нас ни одной нет до сих пор. Нельзя и быть нам богатым. Ружье — вот наша жизнь настоящая. А как другие эпироты — жить ремеслом, у нас не в обычае. Лучше слугой пойти к богатому человеку, чем столяром или башмачником быть. Так-то мы как дикие звери живем, эффенди. По мне вы не судите, я политике в городах обучался и даже в Болгарии был и в Боснии. А гордость у сулиотов наших у всех большая. Посмотрите вы на маленького сулиота в каком-нибудь хозяйском доме в Янине или в другом городе, на малое неразумное дитя десяти каких-нибудь лет. Что вы видите?

Слугой его взяли в дом, например, и без платы, а только одевать и кормить. Завелись у него две фустанеллы; он встанет рано, сам вымоет фустанеллу, утюгом выгладит и наденет, и уж пробует, как ему красоваться в ней. И так станет, и так прыгнет, и протанцует один! Завелись небольшие деньги у сулиота, он сейчас оружие хорошее покупает, одежду такую, что обувь одна, красная шелковая с кистями, лир пять турецких стоит, серебряные щипчики, чтобы уголья горячие доставать из мангала[4] для чубуков, за пояс золотом шитый заткнет и гордится. «Пусть видят люди, что воин-человек идет!»

Другие эпироты, хоть бы яниоты или загорцы богатые, смеются над нами. «Варвары люди!» — говорят они об нас. Однако ни яниот, ни загорец недостойны к оружию прикоснуться, и без наших капитанов сами турки и паши разбойников даже преследовать не могут. Придет час, господин мой, и вы опять увидите, что значит сулиот!

Таковое мое слово вам.

Костаки тоже, как следует сулиоту, одевался чисто, и сам консул, у которого я служил,

всегда хвалил его за это. Придет ко мне в гости Костаки; если консул его увидит, всегда скажет ему: «Добрый вечер, Костаки! Что ты делаешь? Какой ты опрятный, я все люблюсь на тебя. Скажи мне, Костаки (раз это ему консул говорит), отчего это у вас люди простые, ремесленники, кавассы и все сельские пали-кары такие чистые и нарядные? И белого на вас столько, и все чисто, и руки вы чисто держите, так что вас в пример европейцам можно поставить; а купцы богатые ваши, доктора, ученые и все, что у вас европейскую одежду носят и кого вы, дураки, благородными, чорт знает почему, зовете, отчего они такие неопрятные и неловкие, и сюртуки скверно сшиты и на воротнике сала три ока? Отчего это?»

Мы улыбаемся оба с Костаки и молчим. Хоть и знаем, что сказать, а хотим консулу почтенье показать, как будто стыдимся.

— Говорите же! — рассердился немного консул.

— Моя такая мысль, г. консул, — говорит Костаки, — думаю я, эти богатые и ученые у нас надеются, что их и паши, и консулы и вся-

кий примут и посадят, и уважение сделают, хоть они и грязные придут. А нам, горцам, что делать, чтобы хоть немного получше казаться? мы и украшаем сами себя, как умеем.

— Умно говоришь ты, Костаки, — говорит консул. — А я еще и другое думаю: что поздешнему одеваться, от отца и деда, и прадеда обычай идет, и всякий знает как надо. А эти медведи хотят по-европейски одеться — и не умеют. Так, как ваши архонты одеваются, у нас так нищие либо преступники галерные одеты.

Ужасно любит этого Костаки наш консул. Все говорит ему: «Когда ж это я тебя к себе кавассом возьму да увижу тебя с красотой твоей в красной куртке, золотом расшитой? Что мне делать? Мои старики-кавассы верно мне служат столько лет. Не могу я прогнать их чрез тебя! А более четырех не положено!»

Покраснеет Костаки от радости. Как не радоваться похвалам таким?

Придумал наконец консул в сейсы, то есть в конюхи его взять.

— Если, — говорит консул, — не умеешь за лошадьми смотреть — не смотри; я другого

возьму для ухода, а ты только для красоты будешь; будешь около меня идти, когда я с визитами верхом поеду, и стремя будешь держать, когда сажусь. Что скажешь?

— Нельзя, — говорит Костаки; — то, другое, третье... Нельзя.

А говорил он неправду все. Не хотел от гордости сеисом стать. И хорошо сделал. Иное дело кавасс, иное дело сеис. Сеис простой слуга; его и турки схватить и судить могут без спроса у консула. А кавасс вещь великая: кавасс оружие носит; кавасс точно офицер иностранный; он жизнь и честь консула защищает; для него паша — нуль, поверьте мне! Для него одна глава — консул. Прикажет консул: «убей этого турка!» — и убью я без страха. Это не я, а консул убил. Консул своему правительству отвечает. А мне одно дело есть — повиноваться консулу. Меня не смеет и паша тронуть без позволения консула. На это трактаты существуют, клянусь вам! Место паша свое потеряет, если тронет меня. И нельзя иначе: фанатизма еще много у турок; консулу трудно ходить одному по улицам. Турчата камнями бросят; солдаты честь не отдадут; обругают и

прибьют нарочно; а потом, дьявольские души, скажут: «Мы люди простые, виноваты, и не знали, что это консул; кавасса с ним не было; мы думали, простой франк».

Да и наши христиане, без злого умысла, а по грубости на базаре толкнут. Знаете, наш грек, как об деньгах заспорит, не то консул, король сам иди, не рассмоит; он смотрит, как бы свои полпиастра выиграть.

А порядок ли это, чтобы представителя великой державы, которого всякий в городе знает, какой-нибудь глупый человек на базаре толкал?

Вот у нас что значит кавасс, господин мой! Великое дело кавасс; он и в бумагах зовется «привилегированным». А конюх — одно слово конюх.

Костаки и не мог пойти в конюхи, потому что он был из слишком хорошего капитанского рода. И хлеб у семьи их все-таки какой-нибудь был.

Теперь я хотел вам еще сказать, какой Костаки был хитрый и смелый.

Этому, господин мой, я надеюсь, вы даже смеяться будете.

IV

С турками ссориться и драться у Костаки было нипочем. И не думайте, чтоб он это делал как дурак; а иной раз силой и отвагой, а другой раз и умом и хитростью возьмет.

Один раз, однако, не умом и смелостью спасся, а счастьем одним. Спасла его старушка одна, и старушка эта после всю судьбу его устроила. Не будь этой старушки, было бы худо ему от турок.

Надо вам и то сказать, что старик, отец Костаки, был в 54 году в делах замешан, и потому, как дела испортились, он уехал в Элладу и с греческим паспортом вернулся в Турцию.

Турки его не трогали, только греческим подданным ни его, ни Костаки, ни других его детей не хотели считать.

Я поэтому не раз и говорил Костаки:

— Остерегайся, брат! У консулов греческих силы мало, турки их боятся; а твоего эллинского подданства и знать не хотят... Смотри!

Иногда он меня и слушался, а иногда нет.

Есть у нас в городе старик один, дервиш, и любит он греться у своего домика на солнце.

Ничего старик: ни худа, ни добра никто от него теперь не видит. Однако люди, которые молодым его помнят, говорят, что он был зол и фанатик.

Костаки мимо него каждый день по делам своим проходил. Сердце его требовало сказать что-нибудь, чтобы подразнить турка.

Проходит и шепчет, как будто про себя, «Чтобы вся ваша порода с Магометом проклятым не спаслась от зла!»

Старик раз прослушал, два прослушал и пошел жаловаться кади. А кади человек опасный был; никаких новых уставов знать не хотел, а только свой шериат[5] старый. Денег он не брал; а турок честный для нас еще хуже вора: от вора откупишься, а от честного не спасешься ничем. Позвали Костаки, он не испугался, а только притворился, что испуган, и говорит: «Я? да что я сумасшедший, что ли, кади-эффенди, чтоб живя в Османли-девле-те, да против вашей веры говорить стал такие скверные слова! Врет старик от злобы, а я не боюсь, потому что знаю, что кади-эффенди не на веру чью, а на правду смотрит».

— Хорошо ты говоришь, сын мой! — сказал

кади. — А ты, старик, сам дервиш, а не знаешь, что суд *мехкеме* наш двух свидетелей требует.

Только это он не при Костаки, а после дервишу сказал. На счастье Костаки, в *мехкеме* пришла в эту самую минуту по своему делу одна старушка, Катйнко

Хаджи-Димо, христианка. Слышала она, и хоть и не имела с Костаки знакомства, а пожалела его. Думает: «где бы его найти?» Отыскала и говорит: «Паликар молодой! берегись: по твоему делу два свидетеля будут».

На счастье, дервиш был почти нищий, подкупить ему свидетелей нечем было; и приходилось правды держаться: упросил он двух турок спрятаться за стену могилы турецкой и ждать Костаки.

Костаки идет мимо и говорит громко товарищу, который с ним был:

— Ах, что у нас за счастье нынче в городе, что кади у нас справедливый и клеветы не любит!

Свидетели и ушли ни с чем. Неделю Костаки молчал, а потом опять проклял Магомета. А старичок уж только вздохнул и говорит:

— И я, брат, его проклинаяю теперь, потому что он слуг своих нехорошо защищает.

Да и мало ли что еще я могу сказать про Костаки! Патриот был мальчик этот! 19 лет ему всего было, а он эллинский крест вытравил себе на руке, и с этим знаком его все турки видели.

Пришел я в наш город, когда его родители померли, и не знал он, чем заняться. Денег отец его, хоть и не беден был, а не много оставил; много тоже на проценты было роздано, и многое из них пропало через злодейство людское и через неправосудие турок.

Я тоже в это время отошел от консула и стал жить в этом городе и торговать. Торговал я русскою кожей, которую у нас зовут *телятиной* и из которой и здесь и в Акарнании шьют чарухи[6].

У Костаки от отца осталось лир сто. Я и говорю ему: «Будем торговать вместе». Он согласился, и все дивились в городе, что два сулиота магазин открыли.

Наши, кроме баранов да еще уголья и дрова кое-какие привозить в город и продавать, ничего не знают.

Жили мы с Костаки хоть и врозь, потому что я семью мою в город привез, но виделся с ним каждый день, и тогда-то узнал я, что дочь Пилиди моему паликару сердце согрела.

V

Влюбился Костаки в дочь купца Пилиди. Только вы, господин мой, не думайте, что в нашей стороне бывает любовь как у других, у франков, или у русских, или в Афинах, что девушка с молодым человеком разговаривает или под ручку гулять с ним идет. У нас этой свободы нет. Я в жизни моей множество вещей видел и стихи читал разные, и мифические истории о любви; у других людей иначе это все бывает, а у нас иначе. В Болгарии я был, например, и как увидал, что простые, сельские девушки у болгар с молодцами танцуют; возьмутся все руками, вокруг станут и пляшут, и прыгают высоко, — и девушки, и мужчины, — Господь Бог один знает, как я удивился! И смешно мне и стыдно стало; и еще удивительнее для меня было, что эти болгарские паликары возьмут цветок и девушке при всех дают. Это значит: «Я тебя люб-

лю». В Боснии тоже я был. Так там не только христиане, и турки с молодыми девушками на улице смеются. Девушки придут за водой на колодезь; а паликары-босняки и христиане, и турки с ними шутить станут. Подойдет другой, сейчас ей два-три комплимента скажет; и она рада! И это у них *ашик* называется.

Где у нас так делать!

У нас в Эпире девушка как подросла так, что можно замуж идти, запрут ее в дом, — и никуда она выходить не смеет; не то на танцы или на свадьбу чью, аив церковь нельзя. Срам великий! Один раз в год все девушки причащаться в одну церковь собираются ночью, и кроме попа и певчих ни одного мужчины нет тогда в церкви; и митрополит в эту ночь у паши заптие требует, чтобы дверь церковную стерегли. И в самом вилайете, в Янине, еще строже, чем в других местах. И чем богаче дом, тем строже, потому что и спрятать девушку в богатом доме легче.

Извольте теперь судить, какая у нас любовь может быть! Скверное наше место на счет этого!

Однако пока еще девушка не выросла со-

всем для замужества, ее можно видеть везде, — и в доме гостям варенье и кофе она подает, и в школу по утрам ходит, и в гости, и на танцы ее берут родители, пока мала.

Так и Костаки наш Софицу Пилиди узнал, когда еще ей четырнадцать лет было; и влюбился в нее. Она уже велика была, а еще ходила в училище. По мне, ничего в ней хорошего не было, бледная и худенькая, как почти все наши эпирские женщины. (Это так! у нас все больше худые; род уже такой!) Глаза у нее это правда, что сладкие были, и обращение хорошее, целомудренное.

Идет с нянькой утром в училище всегда очень скромно, а вечером из училища в дом отца возвращается. Одета она была по-старинному и не шляпку на голове носила, а феску; идет, и глаз от земли не подымет. И обучена была она в школе свыше всякой меры хорошо.

Подушки по канве большими франкскими цветами вышивала; рубашки европейские шить умела. Историю и географию всю наизусть знала.

Приехал к нам новый митрополит и по-

шел на экзамен в девичье училище. Пришла очередь Софицы. И так знала она хорошо, бедная, — как в барабан забила! не разберешь даже слов.

А митрополит хитрый; спрашивает вдруг у нее: «Есть в Молдавии горы или нет?» Покраснела Софица, на учительшу глядит. Учительша тоже застыдилась, а помочь нельзя. Подумала Софица и говорит митрополиту: «Нет гор в Молдавии; все поле». Все обрадовались.

Костаки, конечно, ее воспитания не имел. Однако и его священник наш читать и писать хорошо обучил; пел он в церкви с детства и Апостол читал прекрасно. Сулиот-человек! Где ж ему географию знать?

VI

Ни я, ни другие друзья и товарищи Костаки долго не знали, что ему нравится дочь Пилиди. Только стали замечать, что он петть чаще стал. Все поет и поет! И особенно одну песенку.

Эту песнь вы часто, господин мой, можете слышать на улице и в Янине, в Арте, и в других наших городах; в праздник, когда стемне-

ет, паликары наши выпьют в кофейнях, идут по улицам и громко поют ее:

Проснись и не спи, Моя золотая канарейка! Встань с постели И услышь, как я пою.

Вот эту песенку Костаки все распевает. Он распевает, а Софица в школу мимо нашей лавки ходит.

Уж когда я спросил у него от всего сердца правду и просил его мне исповедаться, он признался. — Люблю ее, говорит.

— Ба! — говорю я ему, — трудное это дело! Не случится это, чтобы дочь такого официального человека как Стефанаки за мальчика-сулиота вышла...

— Я сулиот, а он франкский портной, *франкорафт*[7]. — говорит.

— Это так, — говорю я. — Да он, видишь, не только богат, но и в драгоманы теперь поступил; корону на фуражке золотую носит; с пашой обедал раза два у консула, у консула в большом уважении.

— Да он осел, — говорит опять Костаки...

— Осел, да поди навьючь его? — не навьючишь!

— Бог все делает! — ответил Костаки и

ушел.

Я молчу; жалко паликара, что безумие такое задумал.

Так и прошло довольно много времени.

Оно не то, чтобы Стефанаки был из какой-либо старинной эпирской семьи: есть у нас древние имена по сту лет даже. Все торговали и в уважении были. А Стефанаки-франкорафт с тех пор наживаться стал, как у нас в моду великую это европейское платье стало входить. Человек он был не умный, а судьбу хорошую имел. Сначала многие помнят его у итальянца-портного: босой бегал мальчиком, а потом за женой взял деньги хорошие и начал богатеть. Судьба ему даже такая вышла, что жену свою он не любил и, видно по желанию его, ее разбойники убили. Вот как это было: у жены его в Загорах в деревне был домик; виноградники были и еще кой-какие вещи. В 54 году разбрелись люди Гриваса, потому что уж Гривас не мог держаться: были у Гриваса всякие люди, и побродяги и злодеи были. Нельзя без этого при восстании. И люди Гриваса сильно озлоблены были на загорских, потому что загорские жители мошенники и

хитрецы. Я сулиот и не люблю их.[8] Они и защищать себя сами никогда не умели, а наших же прежде капитанов с молодцами из Лакки-Сулии сторожить себя от разбойников занимали. Деньги наживать — это они умеют, сказано, загорцы.

Вот ребята Гриваса и разбрелись туда и сюда. Пришла партия в Загоры ночью. — Мы, говорят, султанское войско. — «Дервен-агадес» [9], сельская стража.

Поужинали. А Пилиди они знали, знали, что он и туркам кланялся всегда низко, и на восстание ни пиастра не дал. Он в это время уехал в Загоры посмотреть свой дом и виноградники.

Подшли к его дому: — «Отворяй!» — кричат.

— Куда отворять! Убежал через крыши и скрылся портной проклятый... а жену беременную оставил.

Они ее и не хотели убить. Но, видно, ее смертный час пробил тогда. Мошенник муж от скупости своей все не верил ей и прятал от нее деньги. Зароет их в погребке в землю в один угол и призовет, и покажет... Смотри,

вот деньги где. А потом опять испугается, чтобы она не взяла и не истратила, потихоньку от нее в другое место перенесет. Потом опять зовет, показывает, опять тайком в третье место переносит. Так она, несчастная, и не знала, где деньги.

Впустила она, бедная, грабителей. Что ж ей делать было? Беременная, убежать не успела...

— Где деньги у мужа? — кричат разбойники. Она указала на последнее место. Рыли, рыли, ничего не нашли; указала она на другое, третье место: опять ничего, измучились рывши.

— Ты, ведьма, нас обманываешь, смеешься над нами! Здесь со злости ее, несчастную, и убили. Зарезали с ребенком вместе, который в утробе ее был. Так и ушли. Франкорафту что? Слава Богу! Жены нет, а деньги целы. Для хозяйства старушку бедную, сестру свою родную, вдову, взял и живет хорошо.

Вот какой человек Пилиди! Худой человек! А в почете большом, куда бы ни пришел, особенно как к богатству его, да корону на фуражку надел и драгоманом стал...

VII

Каким драгоманом сделался Стефанаки, французским, русским или австрийским, уж я и сказать вам не могу. Вице-консулом в нашем маленьком городке был один мусьё Бертоме, франк из армян. Он был вовсе простой человек и служил без жалованья, а только из чести, и поднимал разом три флага: русский, французский и австрийский. Русский настоящий консул назначил его для кое-каких мореходных дел и еще чтобы было кому защитить иногда человек пять-шесть русских подданных (из наших же греков они все были).

Хоть и простой и смирный человек, а был мусьё Бертоме в большом уважении, потому что из старых хозяев был в городе и состояние свое имел. В праздники императоров русского, австрийского и французского расходов не жалел; угощал всех кофеем и ликером, кто ни придет, и старался, бедный, как мог. И вот что Удивительно: хоть и франк он был по вере своей, однако, как будто, русский флаг больше других уважал.

Я думаю своим мозгом, который мне Бог

дал, что он это в угоду грекам делал, чтобы в городе его больше любили. Ничего, был человек хороший. Только бедный ум его плохо резал[10]. Придет к паше, улыбается все, а сказать, как следует, ничего не умеет. Если бы не консульша, дела бы вовсе не шли. Та была паликар старуха! На пашу накинется: «Я с тобой говорить не хочу! Ты все лжешь и обманываешь нас. Обещал выпустить вот того-то и того-то из тюрьмы, а не выпускаешь. Учат-учат вас, а вы все такие же... Не смотри ты на меня, паша... я сама тебе вчера пирог сладкий испекла, своими руками замесила; а ты нас не любишь, и я сама тебя теперь уж не люблю!» Просит ее паша, обнимает. «Эй, *море*[11] кирия, не сердись! Не сердись, море консульша! Отпущу этого человека тебе в угоду. Верь мне! мы с мужем твоим старые друзья... В одном городе родились»...

На жандармов кричала, командовала ими консульша. То не так, и другое не так! «Ты знай свое место, разбойник; а ты свое дело смотри; а ты свой долг знай, и тем и уважишь кого надо!..»

Так и покрикивает, и муж за ней тихонько

да с улыбкой: «Что ж ты это? Правду она говорит: ты это не так, море, делаешь».

Были у них две дочки молодые: m-лле Роза и m-лле Мари. Девицы красивые и скромные. Сама старушка была из Сиры, *франкорумья* [12], и был у нее родной племянник, тоже франкорумьос, Жоржаки.

Вот этот Жоржаки и свел с ума старого дурака Пили-ди, сделал его драгоманом, всячески насмеялся над стариком и ограбил его потом через меру.

Я с кавассами г. Бертоме был большой друг и часто бывал в консульстве. Приду и сижу у них. И они мне много рассказывали, а многое и сам слышал. Жоржаки такой негодяй был, что и сказать трудно. Жиденский, да с бородкой, как еврей, так и крутится. Дьявол! А хвататься — это первое дело. Придет к нам с кавассами вниз: «я, говорит, весь свет изъездил! В Александрии был, в Константинополе жил, в Молдавии и Валахии торговал. В Константинополе в посольствах замучили меня. Я, друг мой, люблю простоту; комплиментами тягочусь. Нет покоя! надевай, Жоржаки, фрак и перчатки каждый вечер! „Кир-Жоржаки! —

говорит русский посланник, — вы обедаете у меня сегодня?" — француз к себе зовет, немец к себе. Тирания! кататься верхом с секретарями, французскую посланницу вечером à la bra-cetta домой с балу английского провожай! Я с ними со всеми был знаком. Конечно, люди высокого звания, аристократия такая, что ваши эфиротские головы и не постигнут во веки вечные. А иной раз бывало от утомления всех их к чорту пошлешь. — „Чтобы ваши души не спаслись!" — скажешь про себя. Уж довольно мне комплиментов этих!..»

Так он нам рассказывал. Верить нам этому или нет — не знаю. И еще говорил: «скажу я тебе, брат, что я вот какой человек: чем хочу, тем и буду: с пастухом я сам пастух, с лордом лорд, с ученым ученый, с пашой паша, с дураком дурак, с мудрым мудрец первой степени!.. У меня ключ всего мира; что захочу — отопру. Вот что я!»

Тошнота, бывало, видеть его, как он вертится и хвалится: панталоны узенькие и сам тонкий... Господи, избави!

Раз один старичок простой сидел у нас и сказал ему: «Это точно, оно может быть, что

ваше благородие с пастухом пастух; учености я и мудрости никакой не знаю; лордов в жизни моей не видал. А с пашой-то вы когда, так на пашу не похожи; а как бы, так сказать, больше к простым людям приближаетесь.. Паша паше кланяется иначе, чем вы, да и говорит, я думаю, иначе, чем вы говорите!»

— Ты, — говорит, — глупый старик — грамоте не обучался и свету не видал... Не вместить голове твоей толстой суждение о человеке как следует благородном... Это моя вина, что у меня гордости нет и что я с такою сволочью, как ты, в разговоры достаиваю вступать! Ты знаешь ли, несчастный, что я на все способен!.. Знаешь ли ты, что если на меня хоть бы писать найдет охота, перо в руке моей трепещет! Как в лихорадке само перо бьется! Вот что я такое! Никто здесь и понять даже не в силах, что у меня за душа... И сверх того еще какая я собака...

Рассердился Жоржаки — беда! а мы от смеха чуть не задохлись все.

А благородство его тем и кончилось, я говорил уже вам, что он старика Пилиди ограбил.

Раз сидели мы вечером внизу с кавассами, — слышали у господ наверху шум и смех, и дочки консула тоже громко хохочут.

Взошли мы потихоньку на лестницу, глядим: старого Пилиди Жоржаки на царство венчает...

Правду я вам говорю; на царство венчает. Ведь этот Жоржаки бессовестный и что выдумал: у епископа митру выпросил. — «У нас спор, говорит, в консульстве сколько митр у вас есть. Я говорю две, а консул говорит одна. — Нет, я говорю... Одна здешнего круглого фасона, а другая высокая из России...» «Я, говорит консул, только круглую видел...» Так и выпросил митру Жоржаки.

Напоили немножко старика и посадили на очаг как на трон и митру надели...

— Zito! — кричит Жоржаки, и другие кричат «Zito!»

— Zito! император австрийский!..

— Что, — говорит Жоржаки, — император австрийский... Не того он достоин... С таким величием, с таким, говорит, лицом ему только византийским императором бы прилично быть...

Консул говорит: — полно, полно! А тот безумный сидит на очаге в митре и улыбается, и не видит, что из него *карагеза*[13] сделали...

Выйти в этот день нам пришлось с Стефанаки вместе из консульства. Мальчик опоздал прийти за ним с фонарем, у меня был фонарь, я и говорю: «пойдемте вместе, кир-Стефо!»

Пошли.

— Что, — говорю я ему, — хорошо повеселились сегодня?

— С такими благородными, воспитанными людьми как не веселиться, — говорит. — Боже ты мой! что значит человек в Европе был! Совсем другой обычай! Свобода обращения, благородство, веселость! А у нас что? бедность, нищета, каждый ищет только, как бы осудить и обмануть другого! Варварство, Турция, одно слово...

Я слушаю его и думаю: «вот что! А давно ли я видел, как ты башмаки снимал в сенях, не то у паши, а у последнего турецкого меймура[14], и подбегал к нему согнувшись, точно полу поцеловать собирался!

Думаю я так, а сам говорю ему:

— Да, кир-Стефо — Турция и дела турецкие вещь пропадающая! Пора и тут эллинской свободе распространиться!

— Нет! — отвечает, — этого ты также не говори. Я эллинов не люблю... Ты меня не понимаешь, несчастный... И я тебя не виню, потому что ты не так-то грамотен... Я говорю о свободе обращения, а ты об Элладе! Что хорошего твоя Эллада? Разбой, всякий пастух равен богатому и образованному торговцу. Теперь хоть бы мне... Я человек хорошей фамилии, благородный, имею состояние... Приятно ли мне будет, если всякий куцо-влах[15], всякий белошاپочник[16] будет со мной равен. Здесь тебе все-таки почет какой-нибудь есть... Здесь, друг мой, есть еще аристократия. Просфору мне в церкви подают особую, потому что ценят и уважают меня за мое состояние... Что это значит? Это значит аристократия!

— Ну, хорошо! — думаю я про себя. — Мне что до этого... Подожду, как начнется тревога какая в краю, да перейдут эллины границу, что тогда заговоришь?.. Первый от страха за-

кричишь: «Zito!»

Через неделю мы узнали, что Стефанаки драгоманом сделали.

Надел он фуражку с галуном и с короною вышитой, мундир сшил, ходить прямее стал, глядит строже. Беда! Уж и перед пашой в сапогах сидит; башмаки перестал носить (а прежде сапог не носил, легче скидать), смотрим, он уж и с турками спорит: извините, говорит, на это трактаты великих держав существуют!

Зашел я к нему с Рождеством поздравить. Садись, — говорит. А прежде бывало: добро пожаловать, капитан Яни! Добро пожаловать, садитесь. Как живете?

А теперь просто: садись, брат. Ныне праздник, ты у меня гость... Садись!

И фуражка драгоманская на столе, на особой вышитой подушке у него лежит, короной вперед; пройдет мимо и поправит ее.

«Ба, ба, ба! — думаю, — как этот человек вдруг распух и возгордился».

VIII

Костаки, я вам скажу, может быть, при од-

ной песенке бы и остался. Все бы думал: куда мне навьючить богача и драгомана! Поскучал бы и сказал бы после: «Софица — *Мофица*[17] не все ли равно! На лаккиотке нашей женьюсь». Но та старуха, которая от кади его спасла, Катйнко Хаджи-Димо — распалила своими словами его любовь. О том, что Софица нравится нашему молодцу, она от меня узнала. Я сказал ей: «Вот бы сделать ему хорошую судьбу?» Катйнко была прелюбопытная старуха. Добрая была на разговоры, да и на дела всякие, как мужчина.

После того, как она спасла Костаки от наказания, Костаки стал'бывать у ней в доме. Она жила одна; хоть муж у ней был еще жив, однако он давно уехал в свое село и с ней не видался никогда. Она сама развелась с ним, сумасшедшая! Не любила его, а поверьте мне, что он в молодости был превидный собой мужчина! Да, сказала себе женщина: «Не люблю его и кончено!» Представили архиерею прошение, что у ней будто зоб на шее больше растет, когда она с мужем вместе. «У меня зоб, говорит, есть: и как я уеду от него к матери моей, так у меня зоб меньше; вернусь к мужу,

зоб больше станет!»

Доктора свидетельствовали ее, свидетельствовали. Все говорят одно:

— Не слышали мы, и в книгах не писано, чтобы через мужа зоб стал больше!

А Хаджи-Димо свое:

— Не хочу, чтобы меня через него да зоб бы задушил!

Архиерей говорит: «Это не причина». А она ему: «Ваше преосвященство монах, человек святой, от таких дел далеко жили. Вы мне поверьте. Доктора мошенники. Кабы я побогаче была, не то чтобы зоб, а и худшую бы причину нашли».

Таскали, таскали мужа по ханам[18]. Устал человек. А Катинко оставит дело на два-три месяца, уедет к матери в село, и опять в город судиться. У нее родные везде были; у родных живет. А мужу несчастному каково в хану жить, когда его вызовут? Уж он и сам стал соглашаться. «Хоть мне она и по душе была, и зоб этот у ней невелик, и я этим зобом несколько не брезгаю; однако, Бог с ней, если я ей угодить не могу» (надо и то сказать, что деньги и имение у нее были, а он был беден).

Архиерей, однако, все еще увещевал ее и уступил только тогда, когда Катинко сказала: «Эй! не разведете, пойду к туркам и потурчусь — одно мое вам слово».

Испугался архиерей и все старшины и развели ее. А она смеется после: «Слыханное ли дело, чтобы хорошая христианка потурчилась? Кто пойдет турчиться? Разве распутная какая-нибудь, которая турка полюбила!»

И стала с тех пор жить сама одна.

Женщина эта многое вынесла и многое видела и знала. Она и у разбойников в плену была. Да! взяли ее на дороге разбойники и две недели держали в лесу. «Извините, кирия, говорили они ей, что у нас угощать вас нечем, кроме хлеба и кизиля». Кизилевыми ягодами все ее кормили; послали одного пастуха-влаха с угрозами в город и велели родным выслать пять тысяч пиастров; «а не вышлите, убьем кирию Катинко».

Дома у нее были деньги, и выслали родные пять тысяч пиастров. Разбойники ночью проводили ее сами до хана и сдали ее ханджи в руки. «Смотри, осел, береги кирию и завтра отправь бережно в город! Это наша кирия, мы

ее любим».

И еще сказали ей: «Мы, сударыня, знаем, какое у вас состояние: не богатое и не малое, а среднее; оттого мы с вас больше пяти тысяч пиастров и взять не хотели»...

Когда вернулась Катинко в город, захотели турецкие чиновники ее видеть и узнать что-нибудь о разбойниках. И она своими ответами всех смешила, а показать что-нибудь важное на разбойников не показала.

Случился тогда в конаке один греческий подданный, и вздумал он, когда все от ответов Катинки развеселились, подшутить над ней.

— А что, — говорит, — Катинко, как здоровье ваше? После разбойников у вас как будто зоб опять побольше стал?

Все засмеялись. А она ему:

— Стыдись, несчастная твоя голова! Ты думаешь, здесь Эллада ваша, что ли? У вас в Элладе, в Юнанистане[19] вашем разбойники люди бессовестные, такие же, как ты! А здесь Османли-девлет, и албанцы, которые меня взяли, люди целомудренные и разумные.

Боже мой! как хвалили ее турки за эти сло-

ва! А она вышла из конака и говорит христианам:

— На! пропадите все вы, и паша, и кади, и все дьяволы! Захотели, чтоб я на разбойников что-нибудь показала! Как же, ждите! Разве можно хорошему человеку в Турции на разбойников показывать? Что ж это будет за порядок, если в Турции переведутся разбои и скажут все: «Турция хорошее государство, Турция вперед идет. А Эллада государство скверное: Эллада не идет вперед; в Элладе есть разбойники, грабят и бьют; а в Турции нет!» Ну, какие же и вы сами патриоты, если хотели, чтоб я на разбойников туркам показывала?

Вот какая была женщина эта Катинко. Все мы ее уважали; а Костаки так и говорил: «она для меня больше матери».

Я сказал вам, что Костаки стал к ней часто ходить после того, как она его из рук кади спасла. Старуха его очень любила. Ласкала его как сына и любила шутить с ним и дразнить и стыдить его.

Костаки был отцом своим в большом целомудрии воспитан. Кто видел его с мужчинами

в пляске, или на базаре, или когда на горе за городом в праздник начнут играть в войну и, разделясь на две партии, камнями бросать, всякий говорил: «какой этот смелый и дерзкий паликар!» А при женщинах он все краснел, и никогда никто от него бесстыдной шутки не слышал; мы, которые постарше, часто и шутить начнем между собой. У того есть в городе кума; а у того две кумы. Костаки только краснеет. Раз, как я знал, что Катинко любит Костаки как своего сына, я и говорю ему в праздник:

— Пойдем, Костаки, сделаем посещение кира-Катанки.

— Пойдем.

Пришли. «Садитесь, садитесь. Как поживаете?» Очень хорошо. А вы как? «Очень хорошо!» Стали разговаривать. Костаки курит и молчит в углу, как девица.

Пришла служанка, подала нам варенья и кофе. Служанка была молодая куцо-влаха и собою красивая.

Я на нее взглянул; а Костаки и глаз на нее не поднял. Ушла служанка. Кира-Катинко и говорит паликару:

— Что же это ты, друг мой, такую великую суровость оказываешь? На женский пол не глядишь.

Застыдился Костаки! Как свекла красная покраснел!

— Оставь его, кирия, — говорю я. — Костаки мальчик у нас хороший, стыдливый и честный. А паликар вы сами знаете какой! Он отцом в целомудрии и молодечестве воспитан.

— Знаю, знаю, — говорит Катинко. — Я пошутить хотела с ним, потому что я его люблю как своего сына. А что он, такой паликар, краснеет и стыдится, когда говорят с ним о женщинах, это точно доказывает его скромность. И знай ты, если молодой человек краснеет, когда с ним говорят о чем бы то ни было старшие или по званию высшие, то это значит, что он хороший человек будет. Это значит, что душа его чувствует все!

— Женить бы его, кирия, поскорей, — говорю я, — чтобы не развратился, не испортился...

— Что ж, женили бы его. А я говорю, «На ком?»

— На ком? — говорит кирия. — На девушке честной и красивой, из уважаемой семьи и с приданым.

Так этот разговор и кончился. Мы ушли, и с тех пор Катинко задумала непременно женить Костаки.

IX

Старушка Катинко Хаджи-Димо как задумала своего любимца Костаки женить на Софице, так и стала паликару об этом говорить.

— Вот, изволь, тебе жена как следует... Ты молодец и она миленькая. Ты молод, а она еще моложе. Пара! Девочка, ты меня, сын мой, послушай, диво! Обходительная, кроткая, хозяйка. Теперь, как из школы вышла, посмотрел бы ты на нее: ни минуты без дела не бывает, посуду моет сама, всем старшим и родным, которые в дом приедут погостить, постелю стелет; на кухню беспрестанно ходит; шьет; я даже видела раз, что она стены белила сама.

Старуха хвалит, а Костаки только краснеет, бедный.

Так всякий день говорила Катинко палика-

ру. И это было правда. Что другое, а воспитание Стефанаки дочерям хорошее давал, благочестивое. И в семье он и сам был Добрый и ласковый человек. Всячески и подарками, и ласкою дочерей старался утешить.

А Катинко все свое твердит:

— Какая, я тебе говорю, Софица эта тихая. Я у них часто бываю и ночью даже нередко. И что ж, поверишь ли ты; слова почти от нее не слыхала! Только улыбается всем и угощает, бедная: не угодно ли кофе, кира, не угодно ли ликеру, не угодно ли варенья, кира? Такая сладкая девушка! И приданого за ней будет лир 200 и даже более...

— Не отдадут ее за Костаки! — говорим мы.

— Старуха Катинко — колдунья! Не бойтесь. Уж не знаю, отчего это я полюбила этого паликара? Или оттого, что мне за мои грехи Бог детей не дал; так уж ему душу всю отдаю!.. Будет, будет это! Пусть Костаки еще годик поторгует *телятиной* и немножко поправится деньгами!

Катинко призналась мне, что она и Софице говорила.

— Хочешь замуж, дочь моя? — сказала ей

старуха. Софица только глаза опустила.

— Нет, ты мне скажи...

— Это воля отца моего, — говорит.

— А твоя воля?

Конечно, девица скромная на это не должна ответить... Да старуха успокоиться не могла.

Велела паликару пройти мимо окон, и позвали Софицу.

— Смотри, что, эта картинка хорошая?

— Какая? — говорит.

— Этот паликар.

— Хорош, — говорит Софица, — я его знаю; это Костаки, сулиот, который кожей торгует. Я в школу мимо его магазина ходила.

— Вот тебе муж! — говорит старуха. Софица обиделась и покраснела.

— Ба! — говорит, — белошапочник, и вдруг мне мужем будет! Простой человек. Весь, как клефт, в белом платье!..

Этого мы не сказали Костаки бедному, чтобы не огорчить его.

Так-то шло это дело. А старик Стефанаки в это самое время о мошеннике Жоржаки с ума сходил.

Тот изверг ему все льстил, в делах своих советовался, способности его хвалил.

— Как же не проклянуть вам, здешним православным, эту Турцию! Сколько великих способностей пропадает. Да вы министром, губернатором должны быть.

— Не брани Турцию, — скажет Стефанаки, — как бы хуже не было!

— Ба! ба! ба! Да вы такой умный, да вы такой честный и опытный гражданин... Я, который столько видел людей... Мало видел таких, как вы... Вы меня извините, я вам скажу, у ваших здесь мало благородства в обращении... А у вас благородство свыше всякой меры. Вы мне отец. Я отца своего так никогда не любил.

Катинко все это сама слыхала и сама рассказывала нам.

И полюбил старик Жоржаки крепко. Пирогги ему шлет; виноград привезут ему из деревни, он целые вьюки винограда к Жоржаки шлет.

Похвалит Жоржаки у него в доме ковер болгарский, — старик ковер дарит ему.

Сам по улице идет в драгоманской фураж-

ке с базара, а слуга за ним большую каракатицу для Жоржаки несет.

— Каракатиц свежих, — говорит, — привезли из Превезы!

Жоржаки плачет, обнимает его: «Ты мне отец!» — кричит.

А Стефанаки везде вздыхает и рассказывает: «много я жаловался, что судьба дала мне одних дочерей, и пожалел меня Бог, послал мне сына в Жорже!»

Катинко сокрушалась, боялась смерть, чтобы Софицу за Жоржа не отдали.

— Нет! — я говорю ей, — этой-то мерзости уж не сделает старик. Все как бы то ни было христианин, за Франка не отдаст!

— Закрутился, — уверяет Катинко, — закутился старик от похвал и от драгоманского галуна!

Недолго, однако, веселился с франками Стефанаки.

Смотрю я раз поутру — бежит за мной мальчик от Хаджи-Димо:

— Идите, — говорит, — кир-Янаки! госпожа моя желает вас видеть.

Прихожу.

— Что такое случилось?

— Случилось, капитан Яни, дело мерзкое. Жоржаки ограбил кир-Стефо нашего.

— Как? — удивился я.

— Как? Лестью. Брал у него деньги займы и в срок отдавал, а гляди и раньше срока. Раз пришел и говорит: «Сыном ты меня считаешь, кир-Стефо». — Лучше сына. — «А если я тебе лучше сына, так дай мне под залог имения, которое у меня в Молдавии, полторы тысячи лир. Вот тебе мои документы».

Старик дал и расписку взять не хотел; Жоржаки насильно дал ему расписку. А там, как это случилось, что и расписка пропала и в Молдавии, говорят, имение разоренное, двух пиастров не стоит, и сам Жоржаки уехал.

— Плохо старику! — говорю я. — Жалко. А что же мусьё Бертоме с женой о племяннике говорят?

— Они тоже бранят и проклинаяют Жоржаки. Поди теперь, ищи его. Ведь здесь Турция, и на месте дело не кончается, а каково в Египте или Молдавии мошенника искать?

Встречал я не раз после этого дела старика. Снял он и драгоманскую фуражку, и сапоги

бросил, и опять башмаки надел, чтобы легче было снимать у турок. Об трактатах уже ни слова! Стал опять согнувшись к паше и к кади подбегать. К вали-паше ездил подавать прошение. Писал вали и греческому консулу (потому что мошенник греческий подданный был), и в Константинополь писал. Дело и до сих пор не кончено.

Старик горюет, а у нас с Костаки и с Катинкой все его дочь на уме.

Стал жаловаться старик Катинке, что старшая уж на возрасте. Катинко и говорит:

— Это еще не велико несчастье, что на возрасте. Все девушки растут скоро.

— Время замуж, — говорит Стефанаки. — Время приданое готовить. Кто у нас с малым приданым возьмет? Разбойник ограбил меня, теперь и мне тяжело будет, Софице под пару не найти теперь жениха. Из большого дома жених большие деньги попросит.

А Катинко говорит ему.

— Не смотри на большие дома, смотри на человека. Я тебе жениха нашла.

И сказала ему, кто жених.

Боже сохрани, как рассердился Стефанаки!

— Белошапочник! простой сулиот! кожей торгует!

— А ты сукном торгуешь, — говорит ему кира наша добрая.

И начался у них с Пилиди спор и крик.

— Он капитанского рода хорошего!

— Кто, — говорит Пилиди, — на капитанов глядит теперь! Теперь цивилизация! Ты так говоришь, кирия, потому сама за простым человеком была...

— Так что ж, дай Бог здоровья моему мужу бедному. Он со мной хорошо жил, и хоть сельский человек, а из хозяйского дома, а ты ведь у франка-портного прежде старое платье штопал и двор ему подметал!

— Что ж ты мужа бросила, если он такой благородный человек был? — кричит Пилиди.

— Это дело другое, — говорит ему старуха, — сам знаешь, у меня зоб прибавлялся...

До ссоры дело чуть-чуть не дошло. Однако, так как Катинко была сродни старику, то они скоро опять помирились.

— Нет тебе судьбы, паликар мой! — сказала старуха Костаки.

— Как Богу угодно! — ответил бедный... По-
бледнел он, правда, немножко в эту минуту,
но потом уж не говорил ничего ни мне и ни-
кому из друзей.

Х

Так-то, господин мой, хоть у глупого Пили-
ди много уменьшилась гордость, оттого что
Жоржаки осмеял и обманул его; а все-таки он
дочь за простого молодца-сулиота отдать не
хотел, пока не обеднел вовсе. Обеднел он во-
все, я, кажется, сказывал вам, от большого по-
жара, когда у нас в городе весь базар сгорел...

Скажу вам, как это было; отчего старого
нашего пашу, Аббедин-пашу, сместили и при-
слали нам нового, и как этот новый, от боль-
шой образованности своей, сжег базар. Аббе-
дин-паша был у нас свой человек. Он был у
нас сперва каймакамом, а потом мутесари-
фом; двенадцать лет управлял он у нас. Был
он здешний, из большого албанского *очага*
[20]; знатный и честный человек.

В городе нашем тысячи четыре жителей:
тысячи три христиан и одна тысяча турок, не
больше. Аббедин-паша не только в городе, а я

думаю, и в деревнях всякого знал. И его знал всякий. Всякий к нему шел, и всякого он принимал. «Что тебе, сын мой?» Это он так молодым говорил, а стариков, конечно, как следует, уважал еще больше.

Франков он не уважал и ненавидел. С кем был дружен, прямо говорил: «Что они нас все русскими штыками пугают! Лучше от русского штыка потерять то, что мы саблей приобрели, чем их лукавыми советами жить! Что мы теперь чрез франков стали? Мы слуги их, и французский консул кого захочет того и прибьет здесь... Прибьет, и меня же обвинят, если я не скажу ему: «Хорошо вы сделали, консул-бей, кланяюсь вам! Прекрасно вы сделали! Хвалю, хвалю! турок палку любит: ломай ему голову палкой; он поклонится вам, консул-бей».

Судил Аббедин-паша нас скоро и по-старому. И туркам не давал в обиду.

— Ты что? — говорит какому-нибудь турку, — ты зачем прибил этого человека?

— Я, паша-эффенди, я так, да этак!

— Врешь, мошенник, я тебя знаю; и в городе всех знаю... Я вас, ослов, учить люблю... Не

дерись без нужды. Пошел, животное, на три дня в тюрьму; в другой раз на месяц посажу, когда людей будешь бить, мошенник!.. Вон!

Придет к нему какая-нибудь худая женщина жаловаться на архонтопуло[21] какого-нибудь. Сказано, женщина. Кричит, плачет.

— Вдова, паша-эффенди! Я вдова, я честная женщина. А он вчера разорвал мне платье; вот оно! За что он позорит меня? Паша-эффенди, я тебя вместо отца имею! Защити меня! Защити ты, как отец, мою честь...

— Что ж ты кричишь? — скажет бывало паша. — Честь я твою знаю, и ты сама ее знаешь; так и не плачь и не кричи, а подожди, что человек скажет.

Призовут и мужчину.

— Ты что, повеса, делаешь?

— Я, ваше превосходительство, так и так...

Она клеветет...

— Молчи, море, знаю я и тебя! Ты женолюбец и буян... Ты вот то-то, вот то-то прошлого года у арабки в доме сделал. Я все знаю... И арабку ту знаю я, и тебя, повеса, и эту женщину знаю. И она непотребная, и ты нехороший человек. Эй, море! заприте их в другую комна-

ту; пусть поговорят одни и помирятся. Он тебе, несчастная, за обиду, может быть, лиру одну даст. Вот тебе и честь!

— Да я присягну, ваше превосходительство, паша господин мой, я присягну, — говорит архонтопуло.

— Как! мошенник! В таком деле да еще присягать хочешь? Какой же ты христианин? Где вера твоя? Постой, я скажу, чтобы деспот-эффенди[22] на тебя церковное наказание наложил за это. Ведите их в другую комнату, и когда не помиритесь, я вас обоих на три дня в тюрьму заключу!

И помирятся люди. И им хорошо, и другим веселье и смех, глядя на то, как старый паша осрамил их непотребство.

Обращений в турецкую веру он не любил. «Никогда добра от этого не бывает. Это все или за деньги, или из разврата делается. Свяжется девка с турком и веру хочет менять. Разве это вера?»

И трудолюбив, бедняга, был Аббедин-паша. Когда он успевал свой гарем видеть — это удивительно. Целый день слушает жалобы и принимает народ. Нас, эллинов свободных,

которые жили в Эпире по делам своим, он преследовать не любил. «Да они бунтуют народ», — говорят ему.

— Это, — скажет, — все пустое. Я этого не боюсь. Пока не захочет Европа, не верю я в их силу и не боюсь их!

И нам через это было хорошо.

Когда завели эти новые вилайеты, он прилежно уставы все изучил и по ним хотел справедливо действовать. Пишет ему вали из вилайета:

— Пришли мне этого грека сюда судиться.

— Не могу, — отвечает Аббедин сердечный, — человек не едет, говорит, что по новым законам султана его следует прежде в здешнем суде судить, а когда кто будет недоволен, тогда надо в главный город ехать.

— Пришли этого грека, — приказывает опять вали-паша.

— Если прикажете силой взять человека, то я пришлю; а человек кричит, что это не по уставу. Как прикажете?

Ну, и уступит иногда вали.

Иные жаловались на Аббедина-пашу, что он лжец. Да он, бедняга, и лгал-то иногда чрез

мягкость свою и доброту души. Всем обещать хорошее хочет; отказывать ему жалко.

Вот эта слабость у него была. Как он был здешний, а не из Константинополя, то ему и хотелось, чтобы все любили его и жалели, если и должность свою потеряет.

И точно, он должность потерял свою чрез нас и чрез свою справедливость.

Когда вздумали прошлого года турки эллинам объявить войну, пришло приказание выгнать скорее всех греческих подданных.

Кто хочет остаться, пусть будет райя.

Народ собрался к Аббедину и просит. У одного жена больна, умирает, ни везти ее зимой по горам и по морю нельзя, ни бросить одну; другому счета свести, у другого денег на дорогу нет. Архонты умоляют докторов и учителей греческих подданных не выгонять. «Для здоровья и для просвещения нужны!»

Аббедин и вступился за народ, пишет к вали-паше: «Дайте людям срок; не губите людей». Только написал он это по просьбе народа, так и услышали на базаре весть, что его сменят. Весь народ заговорил.

И месяца не прошло, как новый мутесариф

к нам приехал.

— Извольте теперь, господин мой, судить, правы ли мы, что бунтуем?

XI

Приехал новый мутесариф Ариф-паша. Он был босняк и человек европеец вполне. Шампанское пил, по-французски знал... Молодой еще, жирный такой и в Константинополе большую силу имел.

Как приехал, так в тот же день стеснил христианских членов идаре-меджлиса и спрашивал, кто больше предан.

Ему сказали турки: «вот Стефанаки хорош. Испортился было, как драгоманом был, а теперь опять хороший человек стал».

Сейчас Пилиди членом в идаре пригласил. И стали вместе они разбирать, кто старый греческий подданный, а кто новый? Кто несомненный, а кто сомнительный? Кто должен ехать, а кто может остаться? Толпой ходили люди к Пилиди, просили, чтобы пощадил.

— Странные вы люди! — говорит он им, — разве я не христианин и не жалею греков? Но что же мне делать теперь? Не гибнуть же

мне? Уйду я из меджлиса, другой еще хуже меня будет...

Пришлось и Костаки нашему паликару выбирать — либо ехать в Элладу и все дела бросить, либо райя стать.

Чтобы Костаки да стал райя! Как сказали ему это люди, он говорит: «да лучше я умру, а турецким подданным не сделаюсь. Не оскорбляйте меня».

Мне тоже было худо; но я побежал к мадам Бертоме, и она, бедная, тотчас же заставила мужа меня без жалованья в кавассы записать.

Пошел я после этого просить кир-Стефо, чтобы он за моего друга Костаки заступился. Предлагал, что я за него поручителем буду и расписку дам, пусть меня в тюрьму посадит консул, если Костаки в чем провинится.

Хаджи-Димо старушка тоже вместе со мной уговаривала Стефанаки.

И Боже мой, и слышать не хочет. «Вон его, вон!»

— Что он за царь! Доктор он, учитель, что ли? башмачник простой — вот он что!

Взбесился и я, и вышло бы дело толстое,

когда бы старуха не ударжала меня. Стал я ругать Стефанаки.

— Ты ненавидишь молодца за то, что он тебе честь сделал, твою дочь хотел взять. Предатель! — ругаю его, — мошенник! Мало людей босым мальчишкой у итальянца тебя знали!

Он было стал тоже кричать на меня:

— Как ты, простой слуга, и смеешь архонта и царского члена ругать!

— Молчи! — я говорю, — изверг, — и вынул пистолет из-за пояса. — Вот тебе клятва моя, что я убью тебя этою рукой моею, которую видишь, как только элины перейдут границу. Пусть погибну я, но и твоей жизни будет конец! Ты кого, изверг, пред собой видишь? Воин-человек, сулиот стоит пред тобой, изверг ты человек!

Побледнел, задрожал Стефанаки; ни слова громко... Только шепчет:

— А! варвары! варвары люди! Катинко нас развела и говорит мне:

— Иди, Яни, с Богом! — Добрый час тебе.. Успокойся! Я послушался хорошей старушки и ушел.

А Костаки на другой день вместе с другими прогнали из города. В три дня все кончил Ариф-паша. Вали, слава Богу, был милосерднее его; по телеграфу приказал ему оставить для народа хоть докторов и учителей, которые были эллинские подданные.

И когда бы вы видели, господин мой, какое это несчастье было!

Кто болен, кто счетов не свел и половины выгод своих лишился; кто семейный... С утра объявили, а вечером на пароход погнали силой... Старухи, женщины, дети... все беги, все бросай в один день... Рассудите, легко ли это? Слез и жалоб и крику сколько мы слышали и видели — это ужас. Время еще зимнее не кончилось: дождь, грязь, на море волны горою ходят и ветер паруса рвет...

Такова-то была жестокость Ариф-паши.

Потом, когда все успокоилось, стал Ариф-паша просвещать наш край по-европейски.

Не хочу я сказать, чтобы он вовсе несправедлив был или бы взятки брал. Нет, этого не было; даже при нем сменили скоро тех чиновников-турок, которые взятки любили, и прислали новых.

И кой-что еще он хотел полезное сделать. Преступников в тюрьме заставил всякими ремеслами заниматься, сапоги, чарухи шить, железо работать, кто что знает и может, чтобы не болели от скуки и безделья. Так, слышно, в Европе бывает.

Дороги стали проводить. Только дороги эти наше несчастье в Турции.

По дождю и грязи идут несчастные люди работать далеко от своих сел; а потом отсюда их в другое место погонят, куда выгодно для турок. Женщины детей, согнувшись, на спине несут; а другие женщины камнями, как ослы, навьючены... Денег за это ни пиастра, труда много, спи и отдыхай в грязи на дороге. И зачем все это? Для торговли, скажем? Бог один знает — заведутся ли когда в стране нашей хорошие колесные дороги для товаров: а мы пока видим, что на этих новых дорогах от дождей такая грязь стоит, что по камням в горах идти лошади и мулу легче, чем по ним... Я думаю, больше для того открывают турки дороги, чтоб им было легче войска против нас водить, когда мы опять восстанем. Так вот и убивается народ без пользы на этих дорогах.

А бей, хозяин чифтлика, свои деньги требует, а начальство требует подати... И священнику надо заплатить; нельзя же без церкви жить, и школу почти в каждой самой бедной деревне народу хотелось бы завести... Мученье великое! И всегда было худо: а все-таки скажем — при Аббедин-паше, сердечном, добрый час ему бедному, ни дорог не проводили на свою же погибель, и по судам меньше мучили.

Хоть и завелись у нас и при нем вилайеты-милайеты, а все он больше любил мирить людей по-старинному, чем в новых судах томить их...

А теперь, поглядите, во всяком городе ханы народу полны, который издалика вызвали и тиранят в судах в этих правильных без конца.

Чем дальше, тем хуже. И что будет с нами — не знаем мы. Куда это дойдет — Богу известно.

И отчего это, господин мой, этим франкам так занадобилась анафемская Турция?

XII

Теперь о том, как старый базар наш сгорел.

Пришли раз поклониться к мутесарифу архиерей наш и архонты, и еврей-купцы и турки кое-какие... Принял всех хорошо. Архиерею навстречу встал и далеко по комнате прошел, сел потом и сказал:

— Все у нас здесь хорошо, только базар очень тесен. И эти крышечки деревянные, что одна с другой сходятся, — как бы пожара не было. Надо каменный базар весь отстроить и без навесов.

Один еврей говорит: «ваше превосходительство! Крышечки эти, о которых изволите говорить, покупателя зимой от дождя, а летом от зноя предохраняют».

— Покупатель должен внутрь лавки входить. Это все одно варварство и глупость, что торговцы сидят в лавках, как на балконе открытом, а покупатель снаружи стоит или влезет и сядет с купцом... Надо, чтобы были закрытая дверь и окна. В Европе везде так.

— Далеко нам до Европы, паша господин мой! — сказал один старичок-турок из нашего города. — Европа место богатое, а наше бедное.

Мутесариф рассердился на старика и ска-

зал:

— Не то ты говоришь, а то скажи, что в Европе люди живут, а здесь ослы...

— *Эвет! эффендим, эвет!*[23] — сказал бедняга и замолчал.

Что будешь делать!

Паша у доктора одного спрашивает: «Синьор, как вы думаете? Эта теснота ведь и здоровью вредит?»

Доктор сказал, что не вредит, потому что город маленький и воздух чист; летом в городе самом травой пахнет. В Европе очень большие города, там теснота вредит. И в открытых лавках сидя, сами купцы здоровее.

— Вы где обучались? — спросил паша. Доктор говорит: «в Италии».

— Э! Италия! — говорит паша, — оттуда только музыканты выходят. И вы песни поете, а не дело говорите.

Греки-купцы наши говорят: «дорого нам очень перестраивать базар».

Паша ничего не сказал им на это и уехал из города, будто мутесарифлык[24] весь осматривать.

Весь разговор этот я знаю хорошо, потому

что от двадцати человек о нем слышал. Уехал паша, и через неделю ночью загорелся базар.

Я спал крепко, и ни пушки с крепости, ни трубы не слышал, которыми у нас опасную весть народу дают. Говорят, кто и близко от крепости был, ничего не слышал.

Поднялся шум и крик на улице страшный, бежит народ, кричит, барабан бьет, низамы бегут толпами, женщины плачут и воют. Выбежал и я, взглянул, весь базар уж в огне. Мечется туда-сюда народ между лавками, хочет спасти товар. Низамы не пускают... «Не велено!» — говорят, а сами не тушат огня. Кинутся где молодцы наши с топорами, низамы их гонят.

Ужас что такое было!.. Да не только гонят низамы, грабят сами. Подойдут к дверям железным, которые у иных купцов внизу под лавками были, и начнут рубить двери топорами.

А там у людей и товары есть, и золото, и счетные книги, и расписки разные, и векселя. Успеют захватить деньги или вещи — захватят, а где не могут, оттого что огонь кругом силен, так от злости огню дорогу открывают.

Войдет огонь, и пожжет и бумаги и товар. А что золото они воровали, так это видно. Не находил же никто сплавленного золота или серебра на базаре после пожара. И если сказать, что это царское войско делало!

Ариф-паша и мечети старой, которая около базара, не пожалел, и около нее не тушили, и в ней все окна потрескались; но она была каменная и осталась.

И что за диво, думали мы после, насколько хотели, настолько и пошел пожар?

Только четыре дома, которые около самого базара были, те сгорели.

И Пилиди дом дотла сгорел, и магазин его сгорел, и счеты, и сукно, а шкатулку с деньгами унесли.

Начальник низамский сам сказал ему с начала самого:

— Выводите поскорей ваших девиц и выносите вещи из дома, базар уже не спасем, весь сгорит, а вы близко.

Пилиди все еще надеялся. Стал он просить молодцов, плотников-христиан, рубить кругом его дома дерево на магазинах; никто не хотел. «Низамы не пускают», — говорят; низа-

мов в это время близко не было, но народ его не жалел. Стал давать деньги плотникам, — они просят много, он не дает; пока торговались, подступил огонь, и пропало все.

Семья убежала к Катинке Хаджи-Димо в дом, и что успела, то и взяла.

Старик тут же об землю ударился и рыдать стал. Мне терять на базаре было нечего; моя кожа была далека, а других жалко. Пошел я искать низамского бин-баши, то есть тысячника, которого все мы знали за хорошего человека. Смотрю, он присел на корточках в углу, курит и любуется на пожар.

— Эффенди, — говорю я, — весь город, как жетса, сгорит.

— Что делать, — отвечает, — огонь. Вышел на пожар и мусьё Бертоме.

— Боже! как сильно горит! — А сам ни с места.

Я говорю ему: вы, мусьё Бертоме, низамов бы постращали немного.

Пошел, бедняга, стращать их. Стоит одна кучка; сделали честь, руки все к фескам приложили.

— Что не тушите пожар? — спрашивает

консул. Молчат изверги.

— Вы бы тушили, — говорит. — Не хорошо, что не тушите.

Один чауш[25] отвечает ему:

— Что тушить, консулос-бей? Весь базар уже сторел! И то правда, что весь сторел.

Вздыхнул мусьё Бертоме и пошел домой.

— Что же вам сказать еще о пожаре этом? Нарочно ли начальство зажгло базар или только тушить не хотело, не буду я говорить. Кто его знает? Только одно скажу: и недели не прошло, как инженер приехал (француз или поляк, не знаю), и начал улицы прямые и широкие проводить. И какие дома на дороге пришлись, то, как слышно, их чинить не приказано, пусть себе падают. Пять лет срока назначено. На помощь бедным погорелым из Константинополя денег, правда, прислали. Этого я не утаю. Стали строить люди новый каменный базар, а мутесариф ездит верхом и смотрит каждый день и любуется. И цвета, какими стены должны быть расписаны, назначает. Иные любят зеленый цвет, не велит. Отчего? Туркам простым угодить хочет; зеленый цвет у них священный. Иные хотят себе

лавки шахматами голубыми с белым раскрасить, чтобы милее было. «Нет, говорит начальство, нельзя!» Почему же нельзя! «Не знаем!» А мы, греки, знаем. Голубой с белым — эллинские цвета. Вот такая политика! Хозяева горюют, а паша смеется, «Жолтым красьте все. Жолтый цвет значит *зависть*; пусть все чужие нашему базару завидуют!» Подъехал раз мутесариф к одному новому дому и увидал, что над дверью двуглавый византийский орел из камня высечен. Зовет хозяина.

— Что это у тебя за птица?

— Птица, паша господин мой! Каменьщики любят меня и хотели мою дверь украсить.

— А зачем у ней две головы? Таких птиц с двумя головами и не бывает. Бог всех с одной создал... Не любят тебя каменьщики; когда б они тебя любили, они бы сделали тебе птицу простую, с одною головой. Сними ты мне этот камень.

На другой день рано выехал паша, и люди не успели сбить орла.

— Ну, иди в тюрьму, — сказал ему паша. — Не любят тебя каменьщики.

Низамов судить и разбирать не стали, а поскорей отправили в другой город, а на место их из другого полка привели. Кой-что из вещей и товаров собрали и вызвали людей смотреть, чьи вещи.

Пустое дело!

Поймали человек шесть христиан-воров, нашли и у них вещи, и обрадовались турки: «Вот кто грабил! Ваши же люди!»

Встретил я доктора, того, который в Италии учился, и говорю ему:

— Ведь это они сделали, чтобы мы беднее были, чтобы нас разорить?

— Бог их знает! — ответил мне доктор. — Может быть, да; а может быть, и нет. Я скорее думаю, что это от глупости, чтобы перед светом хвалиться: у нас во всех городах прямые улицы, как в Париже. Они и у своих турок в Стамбуле, говорят, не тушили; прямые улицы провели после. У них бред предсмертный уж начался: верь мне, друг мой!

— Помоги Бог! помоги Бог! — сказал я и хотел проститься с доктором.

А он мне говорит:

— Слышал ты, что Стефанаки Пилиди из

меджлиса выгнали?

— Возможно ли это? — говорю я.

— Так, друг мой, возможно, что выгнали. Не вытерпела и его душа. Стал в меджлисе о разореньи народа кричать и о своей шкатулке. «Царское войско меня ограбило!» — сказал он. А мутесариф ему: «Когда вы смеете обвинять войско и власти так открыто и без доказательств, то зачем же здесь в идаре сидите?» Старик встал и говорит: «Если угодно, я уйду и не ступлю на порог этот никогда!» «Добрый вам час!» — говорят турки. Пилиди сделал им *теменна*[26] и вышел. Живет он теперь с дочерьми у Катинки Хаджи-Димо, плачет и прокликает турок.

«Зайти разве к нему?» — подумал я и на другой день пошел в дом Катинки.

XIII

Пришел я после пожара к Пилиди. Жалко мне стало старика.

— Садись, — говорит, — кир-Яни. Как твое здоровье?

Как будто ничего не случилось; а сам все вздыхает и шепчет: «Христос и Панагия! Хри-

стос и Панагия!» И на меня не смотрит, а все в землю.

Сел я; спрашиваю:

— Как вы поживаете, кир-Стефо?

— Не спрашивай! — говорит, и опять вздыхает: «Христос и Панагия!»

— Великое разрушение произошло, — говорю я ему.

— Грехи наши, грехи, кир-Яни! А потом как закричит:

— А? правительство это? А? правительство это? Скажи мне? Видал ты войско, которое на пожаре грабит народ? Видал, скажи?

— Видал, — говорю я. — Что ж другое в Турции увидишь, кроме таких вещей!

— А! — кричит Пилиди, — чтобы весь род ваш пропал! Вы хотите погубить наше богатство, которое мы трудами своими приобрели! Чтобы мы не могли паликарам нашим деньгами помогать, когда они возьмут ружье и станут можжить ваши головы! Слышишь? слышишь? Вперед идет Турция! Образованного мутесарифа нам прислали. А он жжет базар! Слышишь ты, в Париже он видел широкие улицы! Франции здесь захотел!

Я вам говорю, кричит, и слезы льются у старика.

Клянусь вам, хоть он и глуп был и не патриот, и за мошенника я его считал, а жаль мне все-таки его стало. Как не пожалеть христианина, который от турецких беспорядков плачет!

Я утешаю его.

— У вас, — говорю, — в Загорах имение еще есть; купите сукна в Австрии опять, и опять торговать начнете.

— Не говори мне таких слов, кир-Яни! У меня три больших дочери есть. Пока я опять разбогатею, старшая постареет; теперь ей восемнадцать лет; минет ей двадцать три года, кто ее возьмет? Ведь у нас, ты знаешь, за двадцать три года перейдет, говорят люди: стара уж.

— Найдутся женихи, — я говорю, — только снизойдете ли вы.

— Слышишь! Снизойду ли... Да я Софицу за бакала[27] с радостью теперь отдам. Снизойду ли! Что ты за слово сказал? Что я теперь! Без денег человек что такое?... Ничего!

Я как вышел от него, так и написал письмо

к Костаки в Акарнанию. «Он теперь, — пишу я ему, — снизойдет».

Костаки скоро приехал из Акарнании с греческим паспортом; только скоро женить мы его не могли. Много еще было хлопот. Как приехал он, так сейчас его заперли турки в тюрьму. «Ты, — говорят, — сюда бунтовать приехал». Костаки говорит: «я греческий подданный, не райя. Теперь у султана с Грецией мир; за что же вы меня в тюрьму сажаете?» — «Ты бунтовать приехал».

Что было делать? Греческого консула еще нет, другие почти мало мешаются... Думали, думали. Пошел я к мусьё Бертоме, боится. Все улыбается да поглядывает на меня.

«Так взяли его турки?» Я говорю: «взяли». «Взяли?» — говорит. «Взяли». — «Этакие дьяволы! — говорит, — в тюрьме теперь?» Я говорю: «в тюрьме».

— Сказано, турки!

А сам к мутесарифу не идет. Слава Богу, через добрых людей написали в вилайет; там один доктор пошел к вали-паше и просил его за Костаки. «Ваша справедливость известна, — так доктор вали-паше говорил. — Коста-

ки жениться приехал, а не бунтовать».

— На ком? — спрашивает вали.

Доктор сказал на ком. Вали говорит: «это дело доброе; только пусть в Элладу поскорее уезжает. Паликар он хороший, только нам таких не очень-то нужно!»

И дал знать мутесарифу, чтобы выпустили из тюрьмы Костаки. Как вышел Костаки из тюрьмы, мы его обручили. Причесался он, оделся во все чистое, и пошли к Пи-лиди.

Вышла и Софица нарядная; подошла, у Костаки руку поцеловала и варенье и кофе нам всем сама подала.

Я хотел было прижать старика, чтобы по-больше денег новобрачным дал, знал я, что у него все-таки где-нибудь да спрятаны мешочки! Думаю: «Постой же, теперь обручили, весь наш город узнал, и в Янине знают люди через пашу и доктора... Уговорю я Костаки пострадать, что бросит и осрамит девушку». Но старушка Катинко на меня рассердилась за это: «Грех, — говорит, — этим шутить! он и сам даст!»

И Костаки не хотел.

— Стыдно мне это, — сказал он, — пусть по

совести даст.

И точно, в тот же вечер подписали бумагу; сам старик 150 турецких лир назначил. Он дочерей жалел. Шолковых платьев дали два, шерстяных много; два платочка, золотом шитые, и одеяло атласное алое записали, и много других вещей попроще.

Турки гонят: «Поезжай, Костаки, скорее в Элладу!», а тут с архиереем хлопоты.

— Костаки греческий подданный; я не могу разрешение ему дать на Софице жениться.
[28]

К мутесарифу бежим. Мутесариф говорит:

— Это дело пустое! Кто станет на это смотреть. Не бойтесь. Я скажу архиерею, чтоб он не боялся.

Опять к архиерею.

— Пусть паша мне на бумаге приказание даст. А я без этого не могу. Патриарх еще недавно писал мне: остерегайтесь, Высокая Порта строго требует, чтобы закон этот соблюдался...

— Так мы тайно его обвенчаем.

— Как знаете! А я узнаю, который поп венчал, так я его строгому церковному наказан-

нию предам и прихода лишу.

Бросимся к одному попу, к другому, — все боятся. Опять к паше.

— Ваше превосходительство, вы бы изволили письменно разрешить архиерею.

— На что ему письменно. Это дело церковное. И в этих делах он не от меня, а от патриарха зависит.

Отыскал я одного старого попа, которого архиерей за бесчинства, пьянство и за драки с турками прихода лишил, но отлучен он не был и венчать мог. Этому хоть десять братьев рядом поставь с десятью родными сестрами, обвенчает всех по очереди!

Обещал ему три лиры. Он говорит:

— Хорошо, три с половиной мне нужно, потому что с портным за новый подрясник так сторговался!

— Что ж вы думаете, кончено все? Нет!

Венчать будем тайно; только где? Пилиди боится, чтоб его самого паша после в тюрьму не посадил. Каков же это срам был бы для старого архонта! Надо сделать так, что и отец как будто этого не знает!

Куда идти? Побежал я вечером к мадам

Бертоме. Она (дай Бог ей жить!) «с радостью, — говорит, — с радостью! Здесь консульство, и мы на себя все возьмем!» Мусьё Бертоме хотел сказать что-то, а она ему: «Хуже ты женщины!» Он и замолчал.

Сейчас затворили в консульстве ставни; поставили стол и свечи. Поп уже готов. Вино и хлеб принесли. Пришла и Софица со старухой Катинкой; свидетелей достали, и поставили молодых под венец.

Поп их венчает, а я смотрю на Костаки: «Что за красавец! Как царский сын стоит в нашей народной одежде».

Так мы их обвенчали; а через три дня в Акарнанию отправили. Никто ни слова не сказал, ни архиерей, ни паша. Так поспешили их отправить, что Софицы и платья не были все сшиты, несшитые взяла.

За день до отъезда их, однако, мы повеселились хорошо. У Пилиди за городом был апельсинный сад; все мы и новобрачные пошли туда и скрипки наняли. Цыганка Аише плясала, и сам старик в *сирто*[29] прошелся. Выпили мы все и хорошо повеселились.

Было это весною, когда у нас апельсины

цветут, и потому по всему саду благоухание как в раю простиралось.

Выпил старик за здоровье Костаки, обнял его и закричал:

— Теперь ты хоть обижай, хоть пугай меня, хоть грязью меня закидай, а я любить буду. Дай мне поправиться, и увидишь ты сам, как я твое благородство ценю.

Костаки его руку поцеловал; а мы все радовались на их счастье.

Потом, как цыгане пошли в сторону, под деревьями поесть, говорит старик тихонько зятю:

— Вот ты уедешь скоро в Грецию. Так я тебе, дитя мое, скажу, что мои молитвы будут об одном: чтобы ты, как следует такому паликару, капитаном эллинским поскорее с оружием в руках границу бы перешел и показал бы нашим тиранам, что значит эллин! А я тебе клянусь, тогда последний пиастр вам на помощь пожертвую! Великий патриот Рига Фереос сказал:

*Лучше час одной свободной жизни.
Чем сорок лет рабства и тюрьмы.*

Вот как возненавидел старичок турок за пожар!

Я был недавно в Акарнании в гостях у Костаки. Они хорошо живут с Софицей. Костаки баранов накупил и дом в городе хороший имеет. Стены раскрашены и над лестницей представлен сад с воротами большими, и на воротах две зеленые птицы сидят. Костаки за один год уже много премудрости приобрел: газеты читает и на выборах иногда хорошо говорит.

Софица тоже много свободнее стала и за мужа умирает от любви.

Я говорю ей раз, шутя:

— А муж тебя, кирия, не любит: не слушается; франкского платья не надевает. Я знаю, что ты боялась за него идти через это.

Софица покраснела.

— Я, — говорит, — во всяком платье обязана его любить. Он мне муж.

А Костаки засмеялся и сказал мне:

— Ты не верь ей. Она много меня вначале этим тиранила, и тогда только душа ее успокоилась, когда ей случилось увидеть, что один номарх да два депутата, оба образован-

ные люди и великие ораторы, фустанеллу носят.

Примечания

Впервые: Русский Вестник. 1870. Т. LXXXIX.
Кн. 9. С. 219-261. Здесь по: ПССиП. Т.3. СПб.,
2001. С. 172-219

[^^^]

Раки — водка.

[^^^]

3

Панагия — Божия Матерь, Всесвятая.

[^^^]

4

Мангал — жаровня, brasero, для согревания комнат зимою; употребляется, если не ошибаюсь, во всех южных странах Европы и на Востоке.

[^^^]

Шариат — священный закон, суд по Корану, которому долгое время были подчинены не только турки, но и христиане в Турции. Исключения составляли всегда лишь семейные и чисто религиозные дела, которые судились архиереями с помощью старшины. Издание новых законов избавило христиан от шариата, по крайней мере в принципе; но это не могло сделаться вдруг, и многие мусульманские судьи, вопреки всевозможным обещаниям и распоряжениям, долго судили лишь по шариату.

[^^^]

Чарухи — красивая обувь, с загнутыми вверх носками, которая Употребляется в Эпире, Акарнании и других странах. Делается из красной русской кожи, которую греки зовут телятины.

[^^^]

Франкорафт — французский портной, который шьет европейское платье.

[^^^]

Загары — гористый округ, тысяч в 20—25 жителей, к северо-западу от Янины. Округ этот пользовался прежде особыми правами и своего рода самоуправлением. Права эти уничтожены лишь в последнее время, при устройстве вилайетов в Турции, и Загоры стали простым уездом. Загоры место очень своеобразное; сорок слишком сел, которые составляют округ, все почти очень богаты, чисты, и дома в них большие, как в городах. Богатство загорцев все приобретено в путешествиях; земледелия нет. Редкий загорец остается дома; все почти женятся рано, покидают тотчас же жену под присмотром родных и уезжают в Молдо-Валахию, в Россию, в Египет, в другие провинции Турции. Возвращаются на короткое время, чтобы жены не оставались бесплодными, и опять уезжают. Загорцы занимаются всем: один выходит доктором, другой учителем, третьи арендуют имения в Молдо-Валахии, торгуют, снимают ханы на больших дорогах и в дальних городах и т. д. Загорцы очень хитры, корыстолюбивы и неутомимы

в труде. Воинственный и небогатый сулиот бранит их в нашем рассказе; но всякий своеобразный край производит и хоро шие, и дурные плоды. Из Сулии и других бедных и воинственных округов Эпира выходили и выходят разбойники и герои-патриоты; из Загор выходят скупцы, боязливые и холодные мошенники, но зато вышли и до сих пор выходят патриоты другого рода, — патриоты, которые все состояние свое, добытое трудом, строжайшею экономией и, может быть, всякою хитростию, жертвуют на школы, на богоугодные заведения, на церкви, на приданое бедным девушкам родной страны и т. д. Покойный, трудолюбивый, медленно-лукавый характер загорцев напоминает болгар. Имя округа заставляет также думать, что загорцы погреченные славяне. Сулиоты, напротив того, погреченные албанцы и сохранили еще все черты албанского характера: соединение суровости с большою живостью, воинственность, гордость приемов, отвращение к мирному труду и ремеслам. И загорец, и сулиот, каждый по своему, могут еще принести много пользы эллинизму.

[^^^]

Дервен-ага — сельский страж.

[^^^]

Ум резал — одно из любимых выражений греческого просторечия. Ум хорошо режет у этого человека, значит человек этот умен.

[^^^]

Море — глупый, глупенький; полупрезрительное, полуласкательное выражение, которое везде и всеми употребляется в Турции, без всякого намерения оскорбить.

[^^^]

Франкорумьос и франкорумья — грек-католик, гречанка-католичка.

[^^^]

Карагез — шут, паяц.

[^^^]

Меймур — турецкий чиновник.

[^^^]

Куцо-влахами зовут людей валашского племени, которые занимаются преимущественно овцеводством в Эпире, Фессалии и Македонии; они ведут полукочевую жизнь, имеют села и покидают их на зиму, спускаясь с гор на более теплые пастбища.

[^^^]

Слово белошапочник (аспроскуфос), означающее в устах богатого горожанина, так же как и «куцо-влах» — простой человек, происходит от того, что эфирские простолюдины, греки и албанцы, жалея каждый день надевать феску, носят обыкновенно белые колпачки набекрень, которые делаются женщинами дома. При изяществе фустанеллы и вообще греко-албанской одежды даже и тогда, когда она от работы и не совсем опрятна, белый колпачок этот вовсе не производит впечатления какого-нибудь спального колпака, и насмешка над ним доказывает только, как мало развито теперь чувство изящного у более образованной части восточно-христианского общества.

[^^^]

Софица — Мофица, вилайет — милайет, консул — монсул, принятая у восточных людей шутка; и наши крымские татары говаривали: становой — меновой. Это значит как бы пренебрежение; «становой и тому подобное». Второе слово должно непременно начинаться буквой м.

[^^^]

Хан — гостиница, подворье.

[^^^]

Юнанистан — турецкое название Греции.
Происходит от слова юнан — иониец.

[^^^]

Большой очаг — аристократический дом; богатый и гостеприимный дом, в котором очаг всегда дымится.

[^^^]

Архонтопуло — сын архонта Архонтами зовут всех зажиточных людей банкиров, купцов, богатых врачей.

[^^^]

Деспот-эффенди — турецкое название архиепископа или митрополита.

[^^^]

Эвет — да, конечно, согласен Таково большею частью мнение разных выборных членов в присутствии пашей.

[^^^]

Губернию.

[^^^]

Чауш — унтер-офицер.

[^^^]

Теменна — почтительный восточный поклон.

[^^^]

Бакал — бакалейный торговец, мелкий лавочник.

[^^^]

Закон Турецкой империи запрещает девушкам турецкого подданства выходить за иностранных подданных Закон этот в силе до сих пор, но надо сказать правду, турецкие паши в этом случае благоразумны и редко преследуют за его нарушение, лишь бы все сделано было секретно и не нарушено было бы уважение к власти посредством явных празднеств и т. п.

[^^^]

Сирто — самый обыкновенный из греческих танцев.

[^^^]